

ТОМ ПЕРВЫЙ



I

ЗАМОК РОНКЕРОЛЬ

Первого января 181... года¹ барон Франсуа Арман де Луицци сидел у камина в своем замке Ронкероль². Уже лет двадцать я не видел замка, но помню его прекрасно. В отличие от большинства феодальных цитаделей он располагался на дне долины; угловые башни соединялись расположенными квадратом строениями; над башнями и строениями возвышались острые шиферные крыши, что весьма редко встречается на Пиренеях³.

Когда вы смотрели на замок с высоты окружающих холмов, из-за этих крыш он казался городком XVI или XVII века, ничем не напоминая крепость, возведенную в 1327 году.

Ребенком я частенько наведывался в замок; никогда не забуду, какое восхищение вызывали во мне широкие плиты, устилавшие чердачные помещения, где мы играли. В ту пору, когда Ронкероль служил крепостью, эти массивные плиты, жалким подобием которых были полы в моем собственном доме, покрывали плоскую крышу; позднее, не тронув первоначального здания, над ними надстроили островерхую кровлю, подобно той, что можно увидеть над Венсенскими воротами⁴.

Века почти не тронули замок, и, поскольку сегодня нам известно, что из всех прочных материалов железо наименее долговечно, не стану утверждать, что Ронкероль казался выстроенным из железа, но повторю, что огромный этот замок был действительно в превосходном состоянии. Создавалось впечатление, что некий богатый любитель готики по внезапному капризу только вчера возвел его нетронутые стены, где не раскрошился ни один камень, и разрисовал их цветными арабесками⁵, где не пострадала ни одна линия, ни одна деталь. А меж тем на памяти людей никто никогда не проводил работ по ремонту или поддержанию в порядке стен и помещений замка.

Ронкероль все же претерпел некоторые изменения; самое странное из них бросалось в глаза, если подойти к замку с полуденной стороны. Ни одно из шести окон южного фасада не походило на другое. Первое слева, если стоять лицом к замку, было стрельчатым; тяжелый каменный крест с резко очерченными гранями разделял окно на четыре покрытых витражами проема. Соседнее походило на первое, за исключением витражей, замененных чистыми стеклами со свинцовой решеткой в виде ромбов, заключенных в железные распахивающиеся рамы. У третьего уже не было ни стрельчатого свода, ни каменного креста. Свод, казалось, замуровали, а солидное столярное сооружение с передвижным переплетом, которое мы позднее окрестили фрамугой, заняло место витража с железными рамками. Четвертое окно защищалось не только двумя переплетами с внутренней и внешней стороны, маленькими стеклами и задвижками, но и выкрашенным красной краской ставнем. Пятое имело один переплет с крупными проемами и зеленую решетку. И наконец в шестом окне сверкало огромное стекло без зеркальной амальгамы, а за ним виднелись шторы самых ярких цветов. К тому же это окно прикрывалось плотными ставнями. Дальше шла глухая стена. Последнее, шестое, окно явилось взорам обитателей Ронкероля первого января 181... года, на следующее утро после смерти барона Гуго Франсуа де Луицци, отца барона Франсуа Армана де Луицци. Никто не видел, кто это окно пробил и отделал.

Местные предания утверждали, будто все окна появлялись подобным же образом и при похожих обстоятельствах, то есть неизменно на следующее утро после смерти очередного владельца замка, и никто не замечал, чтобы кто-то выполнял хоть малейшую работу. Что несомненно — каждое из этих окон принадлежало спальню комнате, закрывавшейся навсегда в тот момент, когда ее хозяин отходил в мир иной.

Вероятно, если бы владельцы замка жили в нем постоянно, все эти странности весьма возбуждали бы жителей Ронкероля; но уже в течение двух веков каждый новый наследник Луицци появлялся в родовом поместье только на сутки, уезжая затем навсегда. Так поступил когда-то барон Гуго Франсуа; и его сын Франсуа Арман, приехавший первого января 181... года, назначил отъезд на следующее утро.

Привратник узнал о визите хозяина, только увидев его на пороге замка; удивление доброго малого перешло в ужас, когда, вместо того чтобы приказать подготовить покои, новопривывший уве-

ренно направился к коридору, где располагались таинственные комнаты, о которых мы говорили выше, и, преспокойно вытянув из кармана ключ, открыл им дверь, о существовании которой привратник и не подозревал; она возникла во внутреннем коридоре одновременно с оконным проемом на южном фасаде здания. Двери в коридоре являли такое же разнообразие стилей, как и окна. Последняя была выполнена из палисандра⁶, инкрустированного медью. За ней тянулась глухая стена, точно такая же, как снаружи, там, где заканчивались окна. Между этими двумя голыми непроницаемыми стенами находились, наверное, еще комнаты, предназначенные, несомненно, будущим отпрыскам Луицци. Они, как и грядущее, которому принадлежали, были закрыты и недостижимы. Помещения, которые мы назовем покоями прошлого, оставались запертыми и недоступными, но сохранили отверстия, через которые когда-то в них проникали люди. Только новая спальня, так сказать комната настоящего, была открыта; и первого января в течение целого дня все желающие заходили в нее без помех.

Этот коридор, который, по правде говоря, выглядел некоей аллегорией, не внушил Арману де Луицци ничего, кроме ощущения холода и сырости, а потому он приказал развести добрый огонь в беломраморном камине, украшавшем его новую спальню. Он провел здесь весь день, приводя в порядок дела поместья Ронкероль. Подсчеты не отняли у барона много времени: доходы и расходы по Ронкеролю равнялись нулю. Но Арман де Луицци владел в округе несколькими фермами, сроки аренды которых истекли, а потому назрела необходимость в продлении арендных договоров.

Если бы кто-нибудь, помимо фермеров, приглашенных к барону, увидел комнату Армана, то его, несомненно, поразила бы ее эlegantность во вкусе «новых»⁷. Спальня была обставлена целиком в стиле Людовика XV⁸, то есть весьма вычурной и неудобной мебелью. Хотя несколько старых окрестных домов сохранили оригинальные образчики той эпохи, случалось, что новшества эlegantного Луицци казались старомодной ветошью нашей славной деревенщине, ценившей изысканно-жеманное рококо⁹ новой комнаты Ронкероля куда ниже комода и секретера из красного дерева, которые украшали гостиную супруги местного нотариуса.

Итак, весь день прошел в обсуждении и заключении новых договоров, и только глубоким вечером Арман де Луицци остался один. Как уже было сказано, он сидел в углу у камина; стол, на котором горела единственная свеча, стоял рядом с его креслом. Пока

Арман предавался размышлениям, часы пробили полночь, затем половину первого, час и, наконец, половину второго. При последнем ударе часов Луицци встал и начал беспокойно ходить по комнате. Арман был мужчиной высокого роста; непринужденные движения его тела выдавали физическую силу, а решительное выражение лица говорило о силе характера. Меж тем его лихорадило от возбуждения, возраставшего по мере того, как стрелки близились к двум часам. Несколько раз он останавливался, прислушиваясь к чему-то, но ничто пока не нарушало окружавшей его мертвой тишины. Наконец Арман ясно услышал тихий щелчок анкерного спуска¹⁰, который предшествует бою часов. Лицо барона покрыла мертвенная бледность; он застыл в неподвижности и закрыл глаза, словно ему стало плохо. В этот момент тишину разрезал первый удар, казалось унявший минутную слабость Армана; и, прежде чем часы пробили второй раз, барон схватил маленький серебряный колокольчик, стоявший на столе, сильно потряс им и вымолвил единственное слово: «ПРИДИ!»

Кто угодно может завести себе серебряный колокольчик, кто угодно может трясти им в свое удовольствие хотя бы и в два часа ночи, произнося слово «ПРИДИ!», но, скорее всего, ни с кем не случится того, что произошло с бароном Арманом де Луицци. Колокольчик, которым он тряс изо всех сил, тихо звякнул, издав один-единственный слабый звук, печальный и глухой. В слово «ПРИДИ!» Арман вложил всю свою энергию, как человек, который хочет, чтобы его услышали издалека, и тем не менее его голос, с силой вырвавшийся из груди, не прозвучал с той решительностью и повелительностью, какие барон хотел ему придать; казалось, он произнес только робкую мольбу, едва сорвавшуюся с губ. Результат поразил его самого: на том месте, с которого он только что сошел, появилось некое существо; вполне возможно, то был мужчина, если судить по его уверенному виду; но возможно, и женщина — настолько нежными и изящными казались черты его лица и тело; но, безусловно, то был сам Дьявол, так как он ниоткуда не пришел, а просто явился из воздуха. Одежанием Дьяволу служил халат со спущенными рукавами, ничего не говоривший про пол его обладателя.

Арман де Луицци безмолвно взирал на сей странный персонаж, пока тот удобно устраивался в вольтеровском кресле¹¹ рядом с камином. Вновь прибывший¹² небрежно откинулся на спинку, протянул к огню указательный и большой пальцы белой утонченной руки; пальцы вытянулись до бесконечной длины и словно пинце-

том выхватили из камина уголек, и Дьявол, а то был Дьявол собственной персоной, раскурил сигару, которую взял на столе. Едва сделал одну затяжку, он с отвращением отбросил сигару:

— Ну и дрянь же вы курите! У вас что, нет нормальных контрабандных сигар?¹³

Арман промолчал.

— Так отведайте моего табачку, — предложил Дьявол.

Он вытянул из кармана халата небольшой портсигар изысканной работы, достал из него две сигары, прикурил одну из них от уголька, который продолжал держать в руке, и протянул Луицци. Арман жестом отказался, на что Дьявол произнес самым непринужденным тоном:

— А! Так вы у нас брезгливы... Ну-ну...

И, откинувшись на спинку кресла, он принялся дымить в свое удовольствие и насвистывать танцевальный мотивчик, безо всякого стеснения покачивая в такт головой...

Луицци неподвижно застыл, глядя на диковинного черта. Наконец, вооружившись проникновенным отрывистым тоном, словно взятым из речитатива одной из современных трагедий¹⁴, он решил прервать молчание:

— Исчадие ада, я призвал тебя...

— Во-первых, мой дорогой, — перебил его Дьявол, — не знаю, отчего вы мне тыкаете, но явно не от хорошего воспитания. Сия дурная привычка в ходу у тех, кого вы зовете художниками; это знак лживого дружеского расположения, не мешающий, однако, завидовать друг другу, ненавидеть и презирать себе подобных. Такой язык применяют ваши романисты и драматурги для выражения якобы самых высоких страстей¹⁵, но благородным людям он не добавляет. Вы не литератор, не художник, а потому я буду вам чрезвычайно обязан, если вы будете говорить со мной как со случайным встречным, что куда более прилично. Хочу заметить также, что, назвав меня исчадием ада, вы повторяете одну из тех глупостей, что распространена во всех известных мне языках. Я точно так же не исчадие ада, как вы — не порождение комнаты, в которой сейчас находитесь.

— Ты тот, кого я звал, — упорствовал Арман, возвысив голос до великой трагической мощи.

Дьявол смерил барона взглядом и с ярко выраженным превосходством протянул:

— А вы наглец. Или вы думаете, что разговариваете со своим лакеем?

— Я обращаюсь к тому, кого считаю своим рабом! — воскликнул Луицци, дотронувшись до колокольчика, стоявшего прямо перед ним.

— Как вам будет угодно, господин барон, — усмехнулся Дьявол. — Право слово, вы типичный современный молодой человек, напыщенный и смешной. Раз уж вы уверены, что я вам подчинюсь, то могли бы обращаться ко мне повезливее — это же сущий пустяк. Подобные манеры подошли бы новоявленному богачу, неотесанному выскочке, не представляющему, как глупо он выглядит, когда с важным видом восседает в своей шикарной коляске и воображает, что никто не понимает, кто он есть на самом деле. Но вы, вы же родом из древней фамилии, носите доброе имя, прекрасно выглядите, вам нет нужды выставлять себя на смех, вас и так заметят.

— Дьявол читает мне нравоучения! Странно и...

— Не пытайтесь вести дискуссию как пастор¹⁶ и приписывать мне глупости, чтобы затем с блеском их опровергнуть. Я никого не учу добродетели — это развлечение я оставляю мошенникам и неверным женам; я ненавижу и порицаю тех, кто смешон. Если бы Небо наградило меня детьми, я скорее согласился бы наделить их двумя пороками, чем придать хоть одну смехотворную черту.

— Уж ты-то знаешь в этом толк!

— Ну не больше, чем самый добродетельный парижский обыватель. Использовать пороки — не значит их иметь. Утверждать, что Дьявол сам страдает от пороков, было бы равносильно предположению, что врач, живущий за счет ваших недугов, и сам болен, адвокат, который жиреет на ваших тяжбах, сам вечно судится, а судья, получающий деньги за наказание преступников, — убийца.

Во время этого диалога ни сверхъестественное существо, ни Арман де Луицци не сдвинулись с места. Луицци изо всех сил пытался скрыть свою растерянность и никак не мог перейти к тому, чего, собственно, хотел. Но постепенно он справился с волнением и удивлением, вызванным видом и манерами собеседника, и решил перевести разговор на, несомненно, более важную для него тему. Придвинув второе кресло, он уселся по другую сторону от камина и внимательно всмотрелся в лицо Дьявола. Теперь Арман сполна оценил тонкие черты и изящество сложения своего гостя. Тем не менее, если бы он не знал, что перед ним Сатана, то не сумел бы определить, принадлежит ли этот бледный прекрасный лик и хрупкое тело восемнадцатилетнему юноше, которого сжигают неведомые

желания, или искусственной в наслаждениях женщине тридцати лет¹⁷. Голос мог бы показаться слишком низким для женщины, если бы мы не изобрели когда-то контральто¹⁸, так сказать, женский бас, обещающий куда больше, чем дающий. Взгляд, который обыкновенно выдает наши помыслы, если только не служит орудием проникновения в чужие мысли, был нем. Глаза Дьявола не говорили ничего — они примечали. Арман молча закончил осмотр и, убедившись, что состязание в остроумии с этим непостижимым созданием не принесет ему успеха, взялся за серебряный колокольчик и звякнул им еще раз.

Услышав приказ (а то был именно он), Дьявол встал и застыл перед бароном в позе слуги, ожидающего повелений хозяина. Это движение произошло в долю секунды, но полностью переменяло облик и костюм нечистого. Фантастическое существо исчезло; на его месте стоял посиневший от беспробудного пьянства дюжий верзила в ливрее и красном жилете, со здоровенными кривыми ручищами в простых белых перчатках и грубыми ножищами в больших башмаках на босу ногу.

— А вот и я-с, — представился новый персонаж.

— Кто ты такой? — возмутился Арман, уязвленный его дерзким и подлым видом, характерным для французской прислуги.

— Я не лакей Сатаны и не совершаю ничего сверх того, что приказано, но исполняю все, что велено.

— Какого черта ты делаешь здесь?

— Жду приказаний-с.

— Ты знаешь, для чего я тебя вызвал?

— Нет-с.

— Ты лжешь!

— Да-с.

— Как тебя зовут?

— Как вам будет угодно-с.

— Тебе что, не дали имени при крещении?

Дьявол не шелохнулся; но весь замок, от флюгера до подземелий, казалось, захохотал самым неприличным образом. Арману стало страшно, и, чтобы скрыть свой испуг, он пришел в ярость — способ столь же известный, как и пение.

— Так отвечай же наконец, есть у тебя имя или нет?

— У меня их столько, сколько пожелаете. Я могу служить под любым именем. Один аристократ в эмиграции, приняв меня на службу в тысяча восемьсот четырнадцатом году, назвал меня Брутом¹⁹,

лишь бы в моем лице вволю поливать бранью Республику²⁰. Затем я попал к одному академику, переделавшему мое прежнее имя Пьер в более литературное Кремень²¹. И пока господин в салоне занимался чтением вслух, меня прогоняли спать в прихожую. Биржевой маклер, нанявший меня после того, от всей души нарек меня Жюлем только потому, что так звали любовника его жены; этому роконосцу доставляло неописуемое удовольствие кричать при своей ненаглядной женушке что-нибудь вроде: «А! Этот тупорылый хряк Жюль! Этот грязный ублюдок Жюль!» Я ушел от него по собственной воле, устав терпеть незаслуженные, так сказать, фидеикомисс²², оскорбления. И я поступил в услужение к танцовщице, содержавшей пэра Франции.

— Ты хочешь сказать, к пэру Франции, содержавшему танцовщицу?

— Я хочу сказать только то, что сказал. Это довольно малоизвестная история; я вам расскажу ее как-нибудь на досуге, если вы решите написать трактат о человеческих добродетелях.

— Ты опять взялся за нравоучения?

— В качестве слуги я делаю минимум того, что могу.

— Так ты мой слуга?

— Пришлось. Я пробовал явиться перед вами в другом звании; так вы разговаривали со мной как с лакеем. Мне не удалось убедить вас быть более учтивым, и вот я перед вами в том непотребном виде²³, какого вы, безусловно, желали. Вы что-то хотели мне приказать, милсдарь?

— Да-да, в самом деле... Но я хотел бы также спросить совета.

— Позвольте вам заметить, хозяин, что советоваться с прислугой — это что-то из комедии семнадцатого века²⁴.

— Ты-то откуда знаешь?

— Из журнальных статей...

— Ты читал их? Прекрасно! И что ты о них думаешь?

— Почему это я должен что-то думать о людях, которые не умеют думать?

Луицици вновь умолк, вдруг обнаружив, что и с этим типом, как с его предшественником, ему не удалось ни на йоту приблизиться к своей цели. Он дотронулся до колокольчика, но, прежде чем позвонить, предупредил:

— Хоть ты и сохраняешь силу ума в разных обличьях, мне не по вкусу обсуждать с тобой желанную мне тему, пока ты пребываешь в таком виде. Ты можешь сменить его?

- Я весь к вашим услугам, милсдарь.
- Вернись к первоначальному облику!
- При одном маленьком условии: если вы дадите мне монетку из той мошны, что перед вами...

Арман взглянул на стол и увидел не замеченный им до сих пор кошелек. Он открыл его и достал одну монету. На бесценном металле сияла надпись: ОДИН МЕСЯЦ ЖИЗНИ БАРОНА ФРАНСУА АРМАНА ДЕ ЛУИЦЦИ. Арман тут же понял тайну необычной денежной единицы и бросил монету обратно в кошелек, который показался ему довольно тяжелым, а потому вызвал невольную улыбку.

- Я не могу так дорого платить за какой-то каприз.
- Что это вдруг вы стали таким скрягой?
- Почему «вдруг»?
- А потому что вы бросались горстями этих монет, чтобы достичь меньшего, чем просите сейчас.
- Что-то я такого не припомню.
- Если бы вы позволили представить вам счет, то увидели бы, что ни одного месяца вашей жизни не потратили на что-либо разумное.

- Очень даже может быть, но я хоть жил...
- Это смотря какой смысл вкладывать в слово «жить».
- А разве есть несколько?
- Их два; и они диаметрально противоположны. Для большинства людей жить — значит приспособливаться к требованиям окружающей среды. И того, кто живет таким образом, в детстве зовут «милым дитятей»; когда он достигает зрелости — «славным малым», а когда состарится — просто «добряком». Все эти три прозвища имеют один общий синоним: глупец.

- По-твоему, я жил как глупец?
- Да-с; и вы считаете, по-видимому, точно так же, ибо прибыли в этот замок, чтобы сменить образ жизни, чтобы вложить в нее новый смысл...

- И какой же? Ты можешь описать его поточнее?
- Это и есть предмет предстоящей нам сделки...
- Нам? Ну нет! — прервал Арман Дьявола. — Не хочу никаких сделок с такой образиной. Мне в высшей степени отвратительна твоя мерзкая рожа...

- Что ж, это вам на руку — кто мало нравится, с тем редко соглашаются. Король, заключающий договор с приятным ему послом,

делает опасные уступки; женщина, обговаривающая условия своего падения с симпатичным ей мужчиной, забывает о половине своих обычных условий; папаша, обсуждающий брачный контракт дочери с зятем, который ему по душе, оставляет ему, как правило, возможность впоследствии разорить свою жену. Чтобы не попасть впросак, нужно делать дела с неприятными людьми. В таком случае отвращение служит разуму.

— А в данном случае оно послужит твоему изгнанию, — заявил Арман, позвонив магическим колокольчиком, которому подчинялся Дьявол.

Тотчас воплощение Дьявола в ливрее исчезло, как и первое двуполое существо, и Арман узрел на его месте миловидного юношу. Он явно принадлежал к тем людям, кого каждую четверть века называют по-разному, а в наши дни — фешенебельными²⁵. Натянутый, как тетива лука, между подтяжками и штрипками белых панталон, юноша сидел в кресле Армана, положив ноги в лакированных сапогах со шпорами на каминный бордюр. Вообразите к тому же аккуратнейшие перчатки, манжеты с блестящими пуговицами, завернутые на лацканы фрака, монокль в глазу, трость с золотым набалдашником — словом, создавалось полное впечатление, будто близкий приятель заглянул к барону де Луицци на чашку кофе.

Иллюзия была настолько полной, что Арману почудилось, будто юноша ему знаком.

- Кажется, мы где-то встречались?
- Никогда! Я туда не хожу.
- Видимо, я видел вас в лесу верхом на лошади...
- Быть того не может! Я предпочитаю бег трусой.
- Тогда я видел вас в коляске...
- Ну нет! Я обычно сам правлю.
- А! Черт возьми! Я уверен, мы играли на пару у госпожи...
- Держу пари, что нет!
- Вы еще все время вальсировали с ней...
- Да что вы! Я умею только брыкаться!
- И вы за ней не ухаживали?
- Никогда! Я ухаживаю только за собой.

Луицци почувствовал острое желание вышибить чем-нибудь тяжелым упрямяство из этого господина. Но на помощь пришел здравый смысл, и Арман начал понимать, что никогда не достигнет желанной цели, если будет продолжать пререкаться с Дьяволом,

какое бы обличье тот ни принял. И барон решил покончить с этим типом точно так же, как и с предыдущими, и, звякнув еще раз колокольчиком, крикнул:

— Сатана! Слушай меня и повинуйся!

Едва он произнес эти слова, как потустороннее существо, названное Арманом, явилось во всей своей зловещей красоте.

Определенно, то был он — падший ангел из поэтических грез. Он обладал болезненной красотой, иссушенной ненавистью, испорченной разгулом страстей, красотой, еще хранившей печать небесного происхождения; однако стоило демону заговорить, как черты лица выдали жизнь, полную пороков и дурных страстей. Среди всех отталкивающих чувств, мелькавших на его лице, преобладало глубокое отвращение. И вместо того, чтобы почтительно подождать, пока барон обратится к нему, Сатана начал первым:

— Я здесь, чтобы выполнить договор, заключенный с твоим родом, согласно которому я должен дать каждому барону де Луицци все, что тот попросит; думаю, ты знаешь условия этого договора.

— Да, — подтвердил Арман. — В обмен на твои услуги через десять лет каждый из нас принадлежит тебе, если только не докажет, что был счастлив.

— И все твои предки, — добавил Сатана, — чтобы ускользнуть от меня в час расплаты, просили меня о том, в чем, как они считали, состояло их счастье.

— И все ошиблись, не так ли?

— Конечно. Они желали денег, славы, знаний, власти; но и власть, и знания, и слава, и деньги сделали их несчастными.

— Значит, этот договор только в твою пользу; могу ли я отказаться?

— Можешь.

— И нет ничего, о чем я бы мог тебя попросить и что может сделать человека счастливым?

— Есть.

— Знаю, ты не можешь мне подсказывать; но открой хотя бы, известно ли мне это?

— Да, известно; ты часто сталкиваешься с этим в своей жизни, это проявляется во всех поступках, редко в твоих собственных, довольно часто в чужих; и я утверждаю, что большинство людей может обрести эту возможность счастья без моей помощи.

— Это какое-то нравственное качество? Или что-то материальное?

— Ты задаешь слишком много вопросов. Сделал ли ты свой выбор? Говори же: у меня мало времени.

— Совсем недавно ты никуда не спешил.

— Потому что тогда я был в одном из тысячи своих обличий, в которых я прячусь от самого себя и которые делают мое настоящее более или менее сносным. Я заключаю свое существо в презренную и порочную человеческую оболочку и чувствую, что иду в ногу с веком, и не страдаю от жалкой роли, которую мне приходится играть. Один представитель рода человеческого, став государем маленького королевства Сардиния²⁶, из глупого тщеславия стал подписываться еще и титулом царя Кипра и Иерусалима²⁷. Да, тщеславие может довольствоваться громкими словами, но гордыня требует великих дел, и ты знаешь, что именно она стала причиной моего низвержения; но никогда еще мое достоинство не подвергалось столь тяжким испытаниям. После битвы с Всевышним, после того, как я обвел вокруг пальца столько великих мира сего, вызвал столько страстей, столько катаклизмов, я унизился до постыдного ничтожества грязных интриг и мелких притязаний современной эпохи. Я прячусь от себя самого, чтобы забыть, насколько возможно, чем я стал. Поэтому форма, в которую ты заставил меня воплотиться, мне отвратительна и невыносима. Торопись же; говори, чего ты хочешь.

— Пока не знаю; я рассчитывал на твою помощь.

— Я уже сказал, что это недопустимо.

— Однако ты вправе сделать то, что делал для моих предков; ты можешь обнажить передо мной страсти других людей, их надежды, радости, страдания, тайны бытия; и твои рассказы послужат мне путеводной нитью.

— Все верно; но знай, что твои предки согласились принадлежать мне прежде, чем я начал свои рассказы. Посмотри на этот документ: я пропустил в нем строчку, предназначенную для твоих пожеланий; подпишись внизу, а после того, как выслушаешь меня, вставишь, кем хочешь стать или что хочешь иметь.

Арман поставил свою подпись и сказал:

— Что ж, я слушаю. Начинай.

— Нет, не так. Величие, к которому меня обязывает теперешний мой вид, скоро наскучит твоему легкомыслию. Вмешиваясь в человеческую жизнь, я принимаю в ней куда большее участие, чем думают люди. Приготовься: я изложу тебе мою историю, а точнее — историю их жизни.

— Сгораю от любопытства.

— Сбереги это чувство — ибо, вызвав меня на откровенность, тебе придется выслушивать все, до самого конца. Или же отказаться, но ценой монеты из кошелька...

— Хорошо, но если мне придется для этого пребывать все время в одном определенном месте...

— Можешь ехать куда тебе заблагорассудится; как только ты меня позовешь, я тут же явлюсь, где бы ты ни был. Но лишь здесь, в замке, ты имеешь право видеть мое подлинное лицо.

— Вправе ли я изложить на бумаге все, что ты мне расскажешь?

— Да.

— И раскрыть твои тайны?

— Сколько угодно.

— Издать их?

— Они будут изданы.

— Подписать твоим именем?

— Да, на обложке будет мое имя.

— Так когда мы начнем?

— Когда ты позвонишь в колокольчик, в любом месте, в любое время, по какому бы то ни было поводу. Но запомни, начиная с этого дня, у тебя есть десять лет²⁸, чтобы сделать свой выбор.

Часы пробили трижды, и Дьявол исчез. Арман остался один. Кошелек с днями его жизни лежал на столе. Барон хотел было считать монеты, но не смог развязать узел и лег спать, бережно спрятав кошелек под подушку.

II

ТРИ ВИЗИТА¹

На следующее утро Луицци покинул Ронкероль. Хотя Дьявол и дал ему довольно долгий срок на поиски путей к счастью, он действовал как человек, у которого есть неотложные планы, и торопился попасть в Тулузу, чтобы затем немедленно отбыть в Париж. Париж — огромная ловушка для тех, кто считает, что жить надо в свое удовольствие. Париж — словно дырявая бочка Данаид²; люди отдают ему заблуждения юности, надежды зрелых лет и сожаления седых волос; он поглощает все, не отдавая ничего. О юноши, которых судьба еще не привела в его ненасытную утробу, если

вашему живому воображению необходимы дни веры и тишины, любовные грезы, устремленные к небу; если вам кажется, что самое прекрасное на свете — привязаться всей душой к возлюбленной, чтобы с обожанием следовать за ней всю жизнь; ах! не приезжайте в Париж! — так как красавица введет вашу душу в великосветский ад, где ваши соперники будут давать оскорбительные клятвы в верности, нагло усмехаясь в лицо той, на которую вы взираете с колен, и ведя с ней легкомысленные, беззаботные беседы, вызывающие у нее улыбку, тогда как вы трепещете, едва осмеливаясь вымолвить слово.

Нет, не приезжайте в Париж, если в вашем сердце звучит гармония вечной песни ангелов; не рассыпайте перед толпой секреты исступленного вдохновения, в котором душа оплакивает радости, о которых она только мечтает, зная, что они возможны только на небе; вы отдадитесь на суд критиков, которые откусят вам руки, протянутые ввысь, и читателей, которые насмеются над недоступным им полетом вашей мысли!

Нет, тысячу раз нет, и не думайте о Париже, если вас мучит жажда святой славы! Сопровитесь изо всех сил этому соблазну; вы потеряете больше чем упования — вы утратите ясность и целомудрие разума.

Ибо ваш разум стремится лишь к возвышенным заботам гения, к чистому, священному гимну прекрасному, к искреннему и торжественному возвеличиванию истины; ошибка, молодые люди, ошибка! После первой пробы пера вы будете ждать внимания публики к ладному и честному слову, но вместо этого увидите, что ее привлекают непристойные анекдоты пошлых писак, истерические бредни бумагомарак, страшные истории из криминальной хроники; вы услышите, как публика, эта старая развратница, смеется над невинностью вашей музы и, осквернив ее распутным поцелуем, велит: «Ну-с, куртизанка, убирайся или же развлекай; давай что-нибудь остренькое и жгучее, оживи мои притупившиеся ощущения; расскажи о жутких кровосмешениях и чудовищных изменах, об ужасающих вакханалиях страстей и преступлениях; говори же, я уделю тебе часок — за это время твое едкое ядовитое перо должно разбудить мою огрубевшую или загнившую чувственность; а иначе — умолкни, умри в нищете и безвестности».

Слышите, молодые люди: нищета и безвестность. Нищета — порок, наказуемый презрением, и пытка безвестностью, то есть ссылкой подальше от солнца, а ведь вы из тех, кто так нуждается в его